

В зеркале двух веков. Предварительные оценки и сценарии,

1.1. Двадцатый век, суровый и милосердный

Никогда прежде в истории не было, чтобы жизнь или смерть такого огромного количества людей зависела от такой малой кучки правителей.

П.А. Сорокин (1959 год)

Третьей мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от мира камня на камне не останется.

Народный юмор (конец 60-х годов)

Оглядываясь на отгремевшее столетие, рискну дать ему определение, которое может показаться неожиданным: это был первый в истории *век осуществленного гуманизма*. Большая часть его грандиозных достижений и издержек суть проявления достоинств гуманистической идеи, продолжившихся, по логике вещей, ее недостатками.

Прежде чем аргументировать приведенный тезис, попробую операционализовать понятие гуманизма, трактуемое подчас весьма расплывчато, а также разобраться, почему он (тезис) звучит столь непривычно.

Концепция гуманизма, имеющая глубокие корни в различных культурах мира (см. [Фромм Э., 1990], [Васильев Л.С., 1994], [Сагадеев А.В., 1994], [Семенов СИ., 1995], [Puledda S., 1997]), появилась в философии зиндиков (безбожников) и дахритов (материалистов) X—XI веков и была завезена в Европу арабскими завоевателями; оформилась в Италии XIV—XV веков, в XVI веке прошла ударной волной по ряду европейских стран и достигла расцвета у французских прогрессистов и про-

светителей XVII—XVIII веков. Она складывается из трех фундаментальных установок:

— человек физически и духовно совершенен, занимает привилегированное положение в природе и призван стать ее «хозяином и властителем» (Р. Декарт);

— каждый человеческий индивид есть «микрокосм» (Леонардо да Винчи и др.), и потому принадлежность к роду наделяет его всей полнотой способностей и прав независимо от этнических, конфессиональных, классовых и прочих различий;

— человеческий разум способен преобразить созданный Богом мир, сделать его «значительно более прекрасным», перестроив «с гораздо большим вкусом» (Дж. Манетти).

Если первые две установки перекликаются с некоторыми идеями прежних мыслителей и религиозных мессий (отличаясь большей четкостью и безусловностью акцентов), то третья, ориентирующая на сознательное улучшение божественного мира, — абсолютно оригинальна. Эта гуманистическая «ересь» составила ядро нового миропонимания и концептуальную предпосылку Нового времени. Она сделала социально поощряемой инновационную мотивацию, всячески подавлявшую традиционными культурами, раскрепостила творческий потенциал и стимулировала конструктивную активность.⁴ Последняя, в свою очередь, вырвала Европу из тисков сельскохозяйственного кризиса позднего Средневековья, сделал ее мировым лидером в области не только технологических, но и гуманитарных идей.

То, что тезис о практическом воплощении гуманизма заметно расходится с привычным представлением о XX веке, обусловлено, на мой взгляд, свойствами обыденного восприятия и памяти, обаянию которых нередко поддаются также профессиональные ученые и философы. В частности, психологами описан феномен *ретроспективной аберрации*: растущие ожидания, искажая оценку динамики социальных процессов, рожают неудовлетворенность настоящим и иллюзорные воспоминания о прошлом золотом веке.

⁴ Гуманизм, начинавшийся как атеистическое учение (у арабов), в Европе оброс богословской оболочкой, но со временем, отбросив ее, превратился в последовательно светское мировоззрение. Человек не создан по чужому образу и подобию, не произведен и не подсуден верховному субъекту: он сам, его дух, мышление, воображение и воля — высшие реальности развивающегося мира.

Сто лет назад почти все, кому было знакомо понятие «человечество», подразумевали под этим едва ли не исключительно носителей европейской культуры, и даже для демографов, изучавших население Франции, России или США, словосочетания «население мира», «население Земли» звучали еще непривычно [Сови А., 1977]. В данном смысле можно сказать, что человечество вступило в XX век с надеждой на безоблачный технический прогресс, растущее благополучие и взаимопонимание между народами. На таком фоне две мировые и несколько гражданских войн, концлагеря, забытый было ужас массовых геноцидов (Энвер-паша, Гитлер) и Хиросима произвели шок и вызвали представление о необычайной жестокости эпохи.

Действительно, по нашим расчетам, в XX веке на Европу пришлось до 60% военных жертв всего мира (причем почти все в первой половине века), тогда как в XIX веке — до 15%. Например, во всех колониальных войнах XIX века погибли 106 тысяч европейцев и миллионы туземцев [Урланис Б. Ц., 1994].

Пока солдаты сражались в экзотических краях, жителям метрополий казалось, будто войны с их жестокостью ушли в прошлое. Но с исчерпанием резервов экстенсивного роста эпицентр силовых конфликтов переместился в Европу, а испытанное европейцами потрясение задало эмоциональный тон общепринятым оценкам «кровавого века». Хотя (см. вводный очерк, а также раздел 2.7) процент жертв насилия от общей численности населения планеты на протяжении XX века был не выше, а, вероятно, ниже, чем в предыдущих веках. Но ни один из них не начинался столь массовыми оптимистическими ожиданиями...

После мировых войн ожидания изменились кардинально: доминантой массового сознания сделался страх перед тотальным ядерным конфликтом. В 50—60-е годы такой конфликт представлялся почти неизбежным, причем считалось, что большая часть человечества погибнет в первые же дни или недели, а оставшиеся вымрут в пораженной радиацией атмосфере. «Всеобщая гибель в огне угрожает теперь каждому из нас, и огонь этот может вспыхнуть в любой момент» — писал в 1963 году один из крупнейших социологов века [Сорокин П.А., 1991, с.213]. Это мироощущение захватило ученых, художников и обывателей. Во всю мощь ломающихся подростковых голосов зазвучали лозунги: «Любовь — сейчас!», «Свободу — сейчас!» (*Love now, Freedom now*), ибо «потом» уже не будет.

К 70-м годам страх потерял прежнюю остроту. Сказались

психическая адаптация, а также то, что ряд острейших кризисов (Карибский, Ближневосточный) удалось разрешить политическими средствами. В новой социально-психологической обстановке ученые привели доказательства того, что атмосфера способна отторгать радиацию и, следовательно, в атомной войне погибнет не все человечество, а «только» несколько сот миллионов.

Правда, в начале 80-х годов независимые группы исследователей в СССР и в США продемонстрировали на компьютерных моделях другой сценарий ядерного Апокалипсиса: поднятые чудовищными взрывами и пожарами тучи пыли и пепла на несколько месяцев перекроют доступ солнечных лучей, сделав невозможным сохранение сложных форм жизни на Земле [Моисеев Н.Н. и др., 1985]. Но к тому времени многие люди уже поверили в способность политических лидеров избежать катастрофического поворота событий.

В результате принято считать, что в XX веке произошли только две мировые войны. Понятие «холодная война» воспринимается как журналистская гипербола, хотя число человеческих жертв в ее процессе соизмеримо с предыдущими «горячими» войнами. Но эти жертвы растянулись на четыре с половиной десятилетия и географически рассредоточились. А главное, они оказались несравнимы с ожидавшимися сотнями миллионов и миллиардами.

И здесь уже по-новому проявилось свойство выборочности массового сознания. Память цепко зафиксировала эмоциональный шок первой половины века и страхи второй его половины, а тот факт, что самые страшные опасения не подтвердились, оставила за скобками.

Между тем последний факт имеет решающее значение для оценки итогов столетия. Из прежней истории известны примеры более или менее сознательного неприменения средств, которые могли бы быть полезны в бою. Китайцы столетиями использовали компас, порох, нефть и прочие перспективные в военном отношении находки для игрушек, фейерверков, лекарств и бытовых удобств. Японские самураи в XVII веке отказались от огнестрельного оружия, сочтя его недостойным истинного бойца. Еще раньше один из французских королей велел отрубить голову изобретателю автоматического «стреломета», сочтя, что такое оружие превратит войну в скучное занятие. Поступи он иначе — и, возможно, в Европе также не полу-

чило бы распространение огнестрельное оружие, на первых порах чрезвычайно громоздкое, малоэффективное и презираемое опытными воинами [Дьяконов И.М., 1994]. Судя по всему, пренебрежительное и часто дисквалифицирующее отношение к военно-техническим новшествам характерно для прежних эпох. Этнографами описаны также случаи, когда первобытные племена, изолировавшись, забывали оружие, использовавшееся их предками (лук со стрелами и т. д.) [Diamond J, 1999].

Но все примеры подобного рода — лишь отдаленные аналоги тех фактов, которые имели место в XX веке. Речь идет об отказе от применения наиболее убойных видов оружия исключительно из-за их чрезмерной убойности. Такие факты нельзя не учитывать при характеристике политического мышления эпохи.

На исходе Второй мировой войны нацисты, самые одиозные из монстров столетия, даже под угрозой безоговорочного поражения и личной гибели, все же не посмели массированно применить боевые химические снаряды. С появлением атомной бомбы ряд ее научных разработчиков, рискуя жизнью, способствовали передаче военных секретов противнику исключительно с целью устранить опасную монополию. И проявили замечательную дальновидность, ибо в итоге такие жесткие политики, как Г. Трумэн, И.В. Сталин и их преемники, сумели выстроить систему международных отношений достаточно гибкую, чтобы избежать прямого военного столкновения сверхдержав.

Следует подчеркнуть, что этот бесспорный успех политиков и народов, пока не получивший, по-моему, заслуженной оценки, был подготовлен глубокими историческими сдвигами в общественном сознании.

В XVII—XVIII веках христианские гуманисты (Б. Лас Касас, Эразм Роттердамский), вступив в противоречие с официальной религиозной доктриной, проповедовали единство людей независимо от верований и греховность войны как таковой. Политиками предлагались рецепты регулирования международных конфликтов посредством систематических конгрессов (Г. Гроций), добровольного объединения европейских государств в свободную от войн конфедерацию (Генрих IV). Философы XVIII века связали перспективу установления «вечного мира» с Предварительной сменой государственного и (или) общественного устройства (Ж.Ж. Руссо, И. Кант и др.). В XIX веке эти идеи, совершенствуясь в полемике с сильными оппонентами

(Г.В.Ф. Гегелем, Ф. Ницше), овладевали общественным сознанием. По свидетельству русского историка конца XIX века М.А. Энгельгардта [1899-а], среди его современников уже преобладало мнение, что «война есть зло, но... зло неизбежное».

Квалификация войны как зла к началу XX века стала общепринятой среди европейцев, хотя общество и политические лидеры почти не ведали иных механизмов объединения кроме как через размежевание: образ общего врага обеспечивал солидарные действия племен, государств, классов, партий на протяжении всей предыдущей истории⁵.

Но в 1919 году была образована первая в истории международная организация, принципиально не направленная против третьих сил (Лига Наций), и в ее документах отчетливо зафиксировано, что война — это не нормальная деятельность государства, не продолжение политики, а катастрофа [Рапопорт А., 1993]. Хотя Лига Наций не смогла воспрепятствовать началу новой мировой войны, мысль о необходимости ликвидировать войну как форму политического бытия становилась достоянием массового сознания.

Кантивоенным настроениям вынуждены были адаптироваться самые воинственные идеологии, спекулировавшие лозунгами «последнего решительного боя» ради дальнейшего вечного мира. Для этого требовалось установить всемирную диктатуру пролетариата, власть высшей расы или истинной веры.

Здесь также прослеживаются аналогии с предыдущими эпохами: мировые религии насаждались огнем и мечом под аккомпанемент проповедей о грядущем Царстве Божием. Но симптоматично изменение риторики. Реанимация квазирелигиозных мотивов в XX веке обосновывалась не столько мистической, сколько социальной прагматикой. Ссылки на Божье вознаграждение-наказание, Страшный Суд и проч. остались уделом полубезумных сектантов, а политически продуктивная демагогия строилась на доказательстве практических достоинств навязываемой идеологии. Люди станут жить мирно и счастливо, ликвидировав эксплуататорские классы. Несовершенные на-

⁵ Даже в XX веке мемуаристами описаны характерные эпизоды, когда за предложением заключить союз следовал вопрос: «Против кого?» — и если вопрос не получал взаимоприемлемого ответа, союз не складывался. Поэтому А. Гитлер, изрекая, что коалиция, не имеющая целью войну, бессмысленна, как юродивый, озвучил общеизвестную истину, признавать которую считалось убогим и неприличным.

ции заживут спокойнее, покорившись всеокрушающей воле и разуму арийцев. Правильной, справедливой и безопасной сделают жизнь народов утверждение исламских ценностей...

Более или менее изощренная мимикрия под гуманизм характерна даже для таких идеологий XX века, которые по содержанию были с ним абсолютно несовместны. Что же касается коммунизма — самой влиятельной и амбивалентной из идеологий, — то мимикрия почти не требовалась: сердцевину мировоззрения составляло убеждение в величии и достоинстве человека, его могуществе и безусловной ценности труда по преобразованию несовершенного мира (социального и природного). Едва ли не большинство выдающихся интеллектуалов первой половины столетия, так или иначе, переболели этой красивой идеей, симпатизируя ее носителям и не замечая гримас ее практического воплощения.

Парадоксально и влияние гуманистических установок на инновационную мотивацию в сфере военных технологий. Если прежде новшества оценивали негативно и иногда отвергали из-за несоответствия боевому духу, то теперь логика обернулась: новое оружие оправдывали необходимостью минимизировать жертвы. Уже на подходе к XX веку изобретатели станкового пулемета (Х. Максим), динамита (А. Нобель), первых подводных лодок и т. д. тешили себя надеждой, что их детища обесмыслят войну.

Уверенность в том, что наращиванием убойной мощи возможно искоренить силовые конфронтации, вдохновляла творческую активность инженеров или, по крайней мере, служила психологическим и социальным прикрытием. До середины XX века жизнь последовательно развенчивала такие надежды, но дальнейший ход событий позволяет думать, что они были не совсем вздорными. Во всяком случае, «равновесие страха» помогло удержать противостоящие блоки от прямого столкновения, хотя холодная война оставила в наследство исторически беспрецедентную ситуацию, когда человечество может быть уничтожено действиями небольшого числа безумцев.

Это один из бесчисленных примеров, демонстрирующих, сколь тесно переплетены в реальной жизни «добро» и «зло», как часто достижения оборачиваются потерями и наоборот. Примерами подобного рода особенно изобилует прошедшее столетие.

Еще одна группа примеров связана с заметным ростом материального благосостояния, информационных возможностей и

средней продолжительности жизни людей практически во всех регионах планеты. Проще всего объяснить эти показатели развитием технологий, в том числе медицинских. В действительности, однако, они отражают очень существенное изменение ценностей и, в первую очередь, возросшее внимание общества к человеческой жизни — жизни не отдельных высокородных отпрысков, а каждого индивида вне зависимости от пола, возраста, классовой или этнической принадлежности.

В противовес этому утверждению можно указать на неравномерное распределение благ, различие в уровнях детской смертности и продолжительности жизни, удручающие условия — антисанитария, хроническое недоедание, — в которых живут значительные группы населения. Сложные экономические расчеты [Мельянцев В.А., 1996], [Фридман Л.А., 1999] показывают, что с 1800 года до конца XX века разрыв в подушевом ВВП между наиболее развитыми и развивающимися странами возрос в 50—60 раз и продолжает увеличиваться.

Здесь, однако, следует обратить внимание на два обстоятельства.

Первое состоит в том, что авторы, демонстрирующие тяготы существования в бедных странах только с целью обосновать справедливую неудовлетворенность наличным положением дел, ограничиваются констатацией фактов в синхронном срезе; обращение к исторической диахронии (сравнение не с продвинутыми современными показателями, а с прежними эпохами) развенчало бы их аргументацию. Указывая, например, сколько людей в мире живут ниже установленного по западным нормам уровня нищеты и сколь высока детская смертность в той или иной стране, полностью обходят вопрос, жили ли предки нищенствующих ныне людей богаче, и удавалось ли их прабабушкам вырастить больший процент рожденных детей.

Между тем, обратившись к сведениям из истории и этнографии, мы убедимся, что благосостояние, санитарные и прочие условия жизни, ее средняя продолжительность — все эти показатели даже в отсталых регионах к концу XX века превосходили аналогичные показатели прежних эпох. Причем не только по тем же регионам, но и в сравнении с процветающими ныне странами.

Так, в средневековой Европе лишь около 20% родившихся детей давали затем собственное потомство. Голод и регулярные эпидемии до XIX века резко ограничивали среднюю продолжи-

тельность жизни. К концу XVIII века во Франции она достигла 23 лет [Арбес Ф., 1992], [Шкуратов В.А., 1994], и это был высокий показатель по сравнению с соседними странами. Например, в таких городах, как Стокгольм и Манчестер, еще в начале XIX века большинство населения жило в среднем 17—20 лет [Cohen M., 1989]. Не превышает 20 лет и совокупная оценка средней продолжительности индивидуальной жизни на протяжении всей истории человечества [Капица С.П., 1995], [Арский Ю.М. и др., 1997].

Точных данных по России двухсотлетней давности мне найти не удалось. Но историк Г.П. Аксенов [2002], изучивший массив документальных данных о Тамбовской губернии, указывает, что еще «в середине XIX века только высокая рождаемость спасла русский народ от вымирания, людей косили оспа, холера, дизентерия, туберкулез... встречались целые села бытового сифилиса» (с. 300).

Все эти расчеты и сравнения приводят к вполне очевидному выводу. Нынешний разрыв в материальных доходах и условиях жизни есть следствие не ухудшения обстановки в бедных странах, а того рывка, который совершили страны Европы и Северной Америки за два столетия, а некоторые страны Азии — всего за несколько десятков лет.

В данной связи еще более важным представляется второе обстоятельство: технологический и экономический прогресс в регионах-лидерах дает вполне ощутимые результаты и в регионах-аутсайдерах. Те же расчеты, которые отражают растущий разрыв между такими регионами, обнаруживают совсем иную картину при переходе от сугубо экономического к «человеческому» измерению, включающему детскую смертность, ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности, доступность информации и т. д. Динамика этих индикаторов отчетливо демонстрирует сокращающуюся дистанцию между полюсами [Фридман Л.А., 1999].

На протяжении XX века практически во всех регионах планеты люди стали жить в среднем значительно (до 2 раз) дольше, будучи стабильнее обеспечены питанием, имея лучший доступ к медицине, образованию и информации, чем когда-либо ранее. Труднее поддаются оценке политические показатели. Мы можем оспаривать конкретные критерии, по которым эксперты газеты «Нью-Йорк Тайме» рассчитали количество людей, живущих в условиях демократии и диктатуры (соответственно

3,1 млрд. и 2,66 млрд.) и дали основание президенту У. Клинтону в инаугурационной речи 1996 года заявить, что впервые в истории человечества «демократическое» население составляет большинство (см. [Schlesinger A., 1997]). Но бесспорно то, что за сотню лет число земель увеличилось в 3,5 раза и, благодаря вовлечению многоэтнических масс в глобальный исторический процесс, небывало возросли объем и содержание понятия «человечество».

К.А. Тимирязев [1949, с.596] писал, что вся разумная деятельность человека есть «борьба с борьбой за существование». Развивая эту мысль, Б.Ф. Поршневу [1974] усматривал в противоборстве с естественным отбором сущность социальной истории. Сегодня можно добавить, что XX век стал эпохой решающей победы над этим жестоким природным регулятором. Вместе с тем он окончательно вытеснил на периферию общественной жизни архаические формы искусственного отбора.

Этнографическая литература полна сообщений о том, с какой легкостью первобытные племена отделяются от «лишних» детей, особенно женского пола, — путем прямого убийства, жертвоприношений, оставления беспомощных младенцев на покидаемых стоянках (где они становятся легкой добычей хищников) и т. д., — что служит одним из средств демографического регулирования [Леви-Брюль Л., 1930], [Леви-Стросс К., 1984], [Фрэзер Дж., 1983], [Clastres P., 1967], [Diamond J., 1999]. В посленеолитических культурах инфантицид не носил столь массового характера. Хотя такая традиция сохранялась и в дальнейшем, случаи жертвоприношения детей сопровождались уже, как правило, эмоциональными переживаниями родителей.

Это отчетливо отражено во многих текстах, включая Коран, Ветхий и Новый Завет. Например, без учета живучей традиции детских жертвоприношений остаются загадочными многие места в Библии, типа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Иоанн, 3: 16).

Еще в середине XX века из некоторых скотоводческих племен Ближнего Востока от путешественников поступали сведения о страшном древнем обычае приносить в жертву старшего сына хозяина в доказательство особой любви к гостю. В конфуцианском Китае три дня после рождения младенец не считался человеком, и его умерщвление не осуждалось юридически или морально; когда же в 70-е годы XX века китайское руководство волевым указом ограничило численность семьи одним ребен-

ком, некоторые молодые родители стали уничтожать первенцев-девочек, чтобы в последующем иметь мальчика [Шафаревич И. Р., 1989]. Это приобрело такой размах, что обернулось статистически значимым (в миллиардном Китае!) изменением соотношения мужчин и женщин, родившихся в 70-е годы.

Более изощренной формой инфантицида служат различные степени «пренебрежения» (*neglecting*) к жизни нежелательных детей, повышающего вероятность их гибели. Например, демографы указывают, что превосходство в продолжительности жизни женщин над мужчинами характерно для развитых культур западного типа (или успевших усвоить современные западные ценности), тогда как в странах с традиционной культурой соотношение обратное. В Объединенных Арабских Эмиратах девочки и женщины всех возрастов составляют только 35,1% населения. Низок процент женского населения и в других исламских странах, в странах Южной Азии, в Китае, Таиланде и т. д. Это объясняется гораздо большей заботой взрослых о жизни и здоровье детей мужского, чем женского пола [Hays D., 1995].

Конечно, от традиций прямого и косвенного детоубийства не были свободны в прошлом ни Западная, ни Восточная Европа. Вот как Л.Н. Толстой [1993, с.7] описывает в «Воскресении» историю Масловой-старшей, матери Катюши: «Незамужняя женщина эта рожала каждый год и, как это обычно делается по деревням (курсив мой — А.Н.), ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося, не нужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода». А уже в начале XX века В.В. Вересаев [1988], пересказывая беседу со старым псковским крестьянином, ругавшим медиков за то, что те спасают больных детей и мешают Богу «сокращать семейство», записал поразительную народную поговорку: «Дай, господи, скотину с приплодом, а деток с приморцем» (с.274).

По утверждению американского историка Л. Демоза [2000], в Европе родители, желающие избавиться от детей, выставляли их на мороз после горячей ванны, кормили тем, что вызывает спазмы желудка и т. д. В исламских обществах дети гибли от заражения крови после обрезания; в христианских — заболевали и умирали после крещения в холодной воде из колодца, а то и просто в проруби. А когда подвыпивший поп ронял младенца в прорубь, мать должна была ликовать, ибо невинная душа попадет прямо в рай...

Здесь уместно прибегнуть к точечному сопоставлению собы-

тий и особенно тех чувств, которые люди испытывают при столкновении с ними. Такой прием не полностью отвечает требованиям строгой науки и, конечно, не может служить самостоятельным аргументом. Но в качестве дополнительной иллюстрации он подчас доходчивее, чем статистические выкладки, демонстрирует историческую динамику ценностных систем.

Читая изредка в газетах про опустившуюся алкоголичку, угробившую собственного младенца, про маньяка-людоеда или про действия агрессивной толпы, мы видим в таких фактах симптомы предельной человеческой деградации. Нашему современнику, не изучавшему специально этнографию и историю бытовых отношений, трудно представить себе, что эпизодические ныне случаи детоубийства, людоедства и прочих проявлений животной жестокости нормативны для иных культурно-исторических эпох.

Например, в большинстве стран отсутствует законодательный запрет на людоедство: считается, что у «нормального» человека такое желание возникнуть не может. Мне лично пришлось столкнуться с историей мерзавца, который насиловал, убивал молодых женщин и съедал их тела. С большим трудом удалось его выследить, задержать и доказать каждый эпизод. Но красноречивый адвокат смог убедить судей, что поедание человеческого мяса — признак невменяемости, и уголовное наказание преступника было заменено «лечением».

В Австралии же, где традиции туземцев делают проблему гораздо более актуальной, только в 1959 году правительство начало принимать систематические меры против каннибализма. Прежде этому противились правозащитники, считавшие недопустимым навязывать аборигенам жизненные нормы европейских переселенцев. Но решающим импульсом стала эпидемия специфической «болезни людоедов»: смертоносный вирус, передающийся через человеческое мясо (особенно мозговое вещество), грозил полностью уничтожить крупное племя в Новой Гвинее, бывшей тогда австралийским протекторатом, и правительству пришлось вмешаться [Diamond J., 1999].

Добавлю, что нормативное людоедство — не исключительная особенность палеолитических племен. В ряде регионов (Африка, Америка) оно сочеталось с рабовладением, в том числе и развитым. Африканские вожди, продавая соплеменников европейским работягам, были уверены, что отдают их на съедение, и недоумевали, узнав, что белые люди не едят: «зачем вам рабы, если вы их не едите?». В государстве ацтеков самые изысканные блюда для высшей знати готовились исключительно из человеческого мяса [Энгельгардт М.А., 1899-6].

Евразия и Северная Африка вроде бы оставили каннибализм за порогом неолита. Но, например, в «Песни о Нибелунгах» спокойно рассказано о том, как рыцари утоляют жажду на поле боя кровью поверженных врагов. А в книге французских историков «Революционный невроз» [1998] приведены документальные сведения об эпизодах Нового времени, когда озверевшая от ярости толпа бунтовщиков, растер-

зав тело ненавистного царедворца, съела его куски, или опьяненный чувством мести убийца съел поджаренное сердце жертвы...

В 1998 году мировое телевидение облетели кадры публичных расстрелов в Чечне. Комментаторы драматическими голосами говорили о варварстве, а один из них, вспомнив про сходные традиции в ряде мусульманских стран, даже прозрачно намекнул на «особенность исламского менталитета». Между тем историки сообщают, что еще в первой половине XIX века публичные казни оставались любимым развлечением лондонцев. Не прошло и полутора веков с тех пор, как Англия отказалась от практики публичных казней (с 1870 года). Некоторые европейские страны последовали этому примеру еще позже, но и в первой половине XX века эсэсовцы (и не только они) строили виселицы на площадях восточноевропейских городов. В конце века публичные казни уже казались почти невообразимым кошмаром; хотя стоит отметить, что экстравагантные американцы серьезно обсуждали вопрос, не следует ли передавать прямые телерепортажи о казни на электрическом стуле в «воспитательных» целях...

В конце XX века трудно было представить себе правительство, которое бы *официально* поощряло уничтожение инородцев без суда и следствия. Сотней лет ранее в странах Америки не только отравляли пруды «в видах изведения дикарей», но и публиковали таксы премий за скальпы индейцев: мужского, женского и детского. Так, в 1887 году власти Калифорнии сулили «двадцать долларов за скальп индейца с ушами» [Энгельгардт М.А., 1899-6, с. 159-160]...

В 1918 году группа большевиков расстреляла царскую семью, предотвратив ее захват наступавшей Белой армией. Расстреляли подло, «исподтишка», тщательно замели следы, и затем их единомышленники всячески избегали упоминать про неудобную тему. А тремя столетиями ранее, в 1614 году, на московской площади повесили четырехлетнего мальчика — сына Марины Мнишек и Лжедмитрия [Соловьев С.М., 1963], — и стрельцы сгоняли народ к месту казни, чтобы никто не болтал потом, будто ребенок выжил...

По В.О. Ключевскому [1958], в процессе петровских реформ погиб каждый пятый житель России. Но это не помешало потомкам ставить памятники великому царю, а специальные исследования показали, что в середине 90-х годов XX века для массового сознания россиян это был самый авторитетный из исторических персонажей. Если считать корректно (не абсолютные числа, а проценты), то правление Сталина уступает по трагическим последствиям, но Сталин в наших глазах — тиран и убийца. Нечто подобное мы обнаруживаем при сравнении многих политических преступников XX века с героями прежних эпох.

Все это свидетельствует о том, что, отвергая наивный тезис о прогрессе в человеческих отношениях, большинство наших современников интуитивно пользуется различными критериями для оценки событий недавнего и отдаленного прошлого. А собственная эпоха видится нам необычайно жестокой прежде всего потому, что не отвечает опережающему росту ожиданий.

Феномен ретроспективной аберрации проявляется, конечно, не

только в политических или макросоциальных оценках. Психологи, педагоги и публицисты, указывая на факты жестокости в семейных отношениях и приводя статистику детских самоубийств, пишут о *возросшей* агрессивности или «небывалом» росте семейного насилия, т.е. выносят безосновательные суждения об исторической динамике. Возросшие требования и критерии вытеснили из памяти хорошо известное обстоятельство: телесные наказания дома, а затем и в школе служили основным воспитательным средством на протяжении столетий. «Сбережешь розги — испортишь дитя», — учили в XIX веке английские педагоги. В Лондоне до сих пор сохраняется законодательный запрет на избивание жен мужьями после 9 часов вечера, чтобы дамские вопли не нарушали общественное спокойствие.

В упомянутой книге Л. Демоза отмечается, что только в середине XX века сформировался «помогающий» стиль обучения и воспитания детей, а прежде стержень воспитательных процедур составляли избивание и бесконечные формы запугивания. С некоторыми вариациями это подтверждают и другие исследователи [Кон И.С., 1998].

Таким образом, обратившись к сведениям по истории детства, мы обнаруживаем уже знакомую картину: в массе своей семейные отношения сделались значительно мягче и «цивилизованнее», но наших современников, в том числе совсем юных, шокирует и психологически травмирует многое из того, что прежними поколениями воспринималось как должное...

Наивнее всего было бы заключить на основании сказанного, будто теперь люди сделались «счастливее», чем прежде (см. об этом раздел 2.3). Срок жизни значительно увеличился, и молодость длится намного дольше. Меньше осталось физической боли — представьте себе, например, ощущения человека, которому гнилой зуб вырывает не дантист с новокаином, а цирюльник. Только к счастью или хотя бы к удовлетворенности жизнью все это имеет очень слабое отношение.

Уже почти сотню лет по учебникам психологии кочует формула Дж. Джемса, по которой удовлетворенность равняется дроби, где в числителе успех, а в знаменателе — притязания; т.е. чем выше притязания, тем меньше удовлетворяют реальные успехи. Далее мы увидим (раздел 2.7), как растущие успехи рождают растущие ожидания и притязания, а те, со своей стороны, сводят на нет субъективную привлекательность достигнутого успеха, тянут за собой ту самую ретроспективную aberrацию, и с ней — неудовлетворенность наличным.

Наоборот, человек, чья жизнь просвещенному наблюдателю покажется ужасающе нищей, грязной, убогой и полной кошмаров, давно выработал изощренную психологическую защиту против смерти, боли и страха.

В книге Ф. Арьеса [1992] показано, сколь отлично отношение к смерти и к боли средневековых европейцев по сравнению с нашими современниками. Смерть воспринималась добрым христианином как перспектива перехода в лучший мир, а физические мучения — как очищение от совершенных грехов; это придавало боли совсем иную эмоциональную окраску. Тем более радостной была гибель в священной войне (а войны часто объявлялись таковыми).

И боль человеческих потерь не так горька, ибо расставание временно. И зависть к богачам, и злоба к обидчикам не так сильно гложут, ибо на том свете всем воздастся по справедливости. Самой страшной бедой и наказанием считалось то, о чем теперь многие пожилые люди молят Бога: мгновенная смерть без физических и душевных страданий, без покаяния и причастия.

Можно показать, какие потери несет с собой едва ли не каждое историческое достижение. Так что не вырисовывается у нас бентамовская формула прогресса: «большее количество счастья для большего числа людей». Оставаясь же в рамках предметного обсуждения, можно констатировать: хотя суровая реальность родного для нас столетия сильно отличалась от лучезарных картин, рисовавшихся воображению прогрессистов и просветителей, его заслуги в гуманитарной сфере не менее грандиозны, чем в сфере технической.

В XX веке были заметно усовершенствованы механизмы ограничения социального насилия, вовлечения масс в политическую активность, а также протекции человеческого организма от неблагоприятных природных факторов. Но параллельно росла неудовлетворенность, обусловленная опять-таки специфическими феноменами социальной психологии — эффектом призмы (ретроспективная аберрация) и эффектом зеркала.⁶ Еще важнее здесь повторить, что воплощение в

⁶ Первый, как выше отмечено, состоит в том, что восприятие исторической динамики искажается опережающим ростом ожиданий. Второй — в том, что люди оценивают качество своей жизни через сравнение с жизнью других. В середине 60-х годов XX века покупательная способность чернокожих граждан США была такой же, как у граждан Канады, а процент чернокожих учащихся в колледжах превышал соответствующий процент среди жителей Британских островов. Но афроамериканцы проявляли недовольство своим положением, поскольку сравнивали его с жизнью не канадцев, англичан или тем более африканцев, а своих белых соотечественников [Петтигрю Т., 1972].

жизнь гуманистических установок несло с собой комплекс новых трудных проблем, оставленных в наследство XX веком.

О военно-политической стороне дела выше упоминалось. Ведущие государства, сумев воздержаться от прямого столкновения за счет переноса противоречий в русло локальных военных конфликтов, накопили ядерные боезаряды, совокупная взрывная мощь которых эквивалентна 1,2 млн. хиросимских бомб [Довгуша В.В., Тихонов М.Н., 1996]. С разрушением двухполюсного мира сдерживающие механизмы заметно ослабли, а соблазн произвольных действий, обеспечивающих сиюминутную политическую выгоду, возрос. Одновременно ядерным оружием овладевают народы, чьи лидеры не обременены опытом ответственности, который успели приобрести политические элиты «классических» сверхдержав.

Повысилась и вероятность применения гораздо более дешевых видов нетрадиционного оружия — бактериологического и токсинного. Кроме того, развитие новых видов оружия, а также форм политического терроризма делает все более проблематичным удержание вооруженных столкновений в локальных рамках. Все это является побочным следствием широкого доступа к образованию, научно-техническим знаниям и умениям. И заставляет говорить не только о сохраняющейся, но и об усиливающейся угрозе глобальной военной катастрофы.

Химическое, бактериологическое и особенно ядерное оружие, культурно-политическое противодействие которым составило лейтмотив человеческой истории за последние полвека, создавались в сверхсекретных государственных лабораториях и тщательно охранялись. Доступ к сырью и информации был жестко ограничен, а производство требовало больших финансовых затрат. В XXI веке ситуация решительно меняется. По прогнозам специалистов, скоро появятся такие виды оружия, основанного на геной инженерии, робототехнике и нанотехнологиях⁷, для производства которых не нужно значительного объема сырья и финансов, достаточно обладать определенным

⁷ Нанометр — миллиардная доля метра - размер соизмеримый с атомами и простыми молекулами. Элементы такой величины позволят записывать информацию с плотностью один бит на молекулу, и в итоге «вычислительные машины» приобретут практически неограниченную память и быстрое действие, лимитированное только временем прохождения сигнала через прибор» [Дьячков П.Н., 2000, с.23].

набором знаний и умений. Эти технологии несут с собой грандиозные созидательные возможности и баснословные прибыли, но, как большинство технологических новшеств в истории, их легче использовать для разрушения, чем для созидания. С углублением же рыночных отношений научно-технологические лаборатории выскальзывают из-под контроля правительств и становятся достоянием частных корпораций, малых групп и отдельных лиц.

Таким образом, по словам известного ученого и программиста Б. Джоя [Joy В., 2000], век оружия массового поражения сменяется веком «знаний массового поражения». Он отмечает, что управление материей на атомном уровне (нанотехнологии) даст необычайные эффекты при лечении рака и других болезней, очищении среды и обеспечит общество беспримерно дешевой энергией. Вместе с тем нанотехнологию возможно использовать для выборочного разрушения географических зон или поголовного уничтожения людей с определенными генетическими признаками. А это уже новый виток в гонке вооружений, неподконтрольный государственным учреждениям и трудно поддающийся регулированию конкретными международными соглашениями.

Более того, существует опасность, что нанобактерии-убийцы ускользнут вообще из-под человеческого контроля (например, вследствие какого-либо недоразумения в лаборатории). Тогда они, будучи меньше, агрессивнее и эффективнее живых бактерий, способны за считанные сутки уничтожить белковую жизнь на Земле. Об этом еще в 80-х годах предупреждал пионер в области нанотехнологии Нобелевский лауреат Э. Дрекслер, на которого ссылается Б. Джой.

Хорошо известными издержками обернулась и реализация лозунга о покорении пассивной природы активной человеческой воле. Ценой за беспримерно высокие жизненные стандарты в одних регионах и стабильное обеспечение возрастающих жизненных нужд в других регионах стало обострение экологических и демографических проблем. В частности, резко сократившаяся смертность при прежних показателях рождаемости обернулась быстрым и к тому же крайне неравномерным ростом населения, а широкая доступность информации и транспорта дала дополнительный импульс миграционным процессам.

На протяжении четырех столетий, вплоть до 30-х годов XX

века, основным источником демографического роста и миграций была Европа, лидировавшая в развитии технологии и экономики. Население Европы и выходцев из нее составляло 22% человечества в 1800 году и примерно 30% в 1930 году [Кеннеди П., 1997].

Когда же ареалы ускоренного роста населения переместились в регионы с отсталыми технологиями, усиливающиеся потоки людей устремились в благополучные страны. Но если расширение «жизненного пространства» европейцев обеспечивалось превосходством в военной силе, то сопротивление иммиграции из стран «третьего мира» блокируется гуманистическими представлениями об индивидуальном и этническом равноправии, а также чувством вины за колониальное прошлое.

Продолжающаяся иммиграция в благополучные страны и заметное превосходство иммигрантов над коренными жителями в количестве рождающихся детей обостряет, со своей стороны, множество социальных, экономических и психологических проблем. Количество «цветного» населения США к концу XX века уже превысило численность «евроамериканцев». Простая арифметика показывает, что при сохранении наметившейся тенденции к концу XXI века «лица европейского происхождения» будут составлять меньшинство и в странах исконного проживания. К тому же иноэтничные мигранты несут с собой отличную от европейской, патриархальную трудовую мотивацию, и содержание их растущих семей ложится бременем на национальные бюджеты. Все это влечет новые политические напряжения и усиливающееся влияние праворадикальных политиков.

В целом бурный рост населения планеты давно начал вызывать у ученых и политиков тревогу, подчас доходящую до истерии (см. далее). Хотя пик *темпов прироста* населения Земли (2,04% в год) был пройден во второй половине 60-х годов, а пик его *абсолютного прироста* (86 млн. человек в год) — в конце 80-х годов, общая численность людей даже при убывающей фертильности продолжает расти. В 2000—2005 годах среднегодовой прирост составит 75 млн. человек, т.е. равен населению Германии [Шишков Ю.В., 2002].

В начале 70-х годов, когда страхи по поводу ядерной катастрофы несколько улеглись, возник вопрос: а что будет, если ядерная война не произойдет? После первых докладов Римскому клубу мировую печать захлестнули рассуждения о том, на

сколько хватит материальных, энергетических и биологических ресурсов планеты при наличных темпах роста населения и потребления.⁸ Разразившийся вскоре нефтяной кризис дополнил расчеты ученых наглядным уроком дефицита, насытив алармистское мироощущение новым предметным содержанием.

Акцент на демографическом, энергетическом и прочих аспектах глобального экологического кризиса заслонил еще одну существенную проблему, которой оборачивается впечатляющая победа культуры над естественным отбором.

Последний, как известно, и в природе, и отчасти в обществе играл стабилизирующую роль, отбраковывая биологически неблагоприятные мутации вместе с их носителями. Резкое ослабление этого безжалостного механизма природы — один из самых замечательных успехов человеческой истории — не может пройти безнаказанно для сменяющихся поколений.

Говоря сугубо биологическим языком, чересчур благоприятные для каждой особи условия жизни снижают жизнеспособность популяции. В нашем случае гарантированное выживание почти всех родившихся детей ведет к накоплению генетического груза, которое, по мнению некоторых ученых, носит экспоненциальный характер [Бочков Н.П., 1978]. В результате каждое следующее поколение людей рождается биологически менее жизнеспособным, а потому более зависимым от искусственной среды. И хотя в последнее время обнаружилось наличие дополнительных механизмов самозащиты генофонда [Генетическая..., 1998], бесспорно одно: чтобы человек, одолевающий естественный отбор, оставался жизнеспособен, его среда и образ жизни должны становиться все более искусственными.

Мутационный процесс усугубляется усиливающимся отравлением межклеточных жидкостей организма токсинами, тяжелы-

⁸ Вопрос о том, что опаснее для будущего планеты: рост населения в бедных странах или рост индивидуального потребления в богатых странах — сильно политизирован. Согласно расчетам, средний американец потребляет в 150 раз больше энергии, чем житель Боливии, Эфиопии или Бангладеш [Muers N., 1990], и наносит в 280 раз больший ущерб природе, чем житель Чада или Гаити [Кенне-ди П., 1997]. Тем не менее, научно обоснованным представляется мнение, что первый фактор (рост населения) опаснее второго. Увеличение социального богатства позволяет затрачивать средства на восстановительные мероприятия (повышая тем самым степень возобновимости ресурсов) [Люри Д.И., 1997], а также на образование и дифференциацию деятельности. К этому вопросу я далее буду возвращаться.

ми металлами, а в последнее время и радионуклидами — отходами производств, накапливающимися во внешней среде [Проблемы клинической..., 1997], [Зубаков В.А., 2000]. Это ведет к необычайно быстрому (по биологическим меркам) перерождению химической среды клеток в многоклеточном организме, и неизвестно, сколь долго наличные средства искусственной протекции способны препятствовать переходу от химического перерождения внутренней среды организмов к лавинообразному вырождению вида...

* * *

В специальной и популярной литературе встречаются различные суждения по поводу того, вступило ли человечество в фазу глобального антропогенного кризиса или только еще приближается к ней. Понятие кризисов и их типологию мы рассмотрим в своем месте (раздел 2.6). Подводя же итог всему сказанному выше, можно заключить, что во второй половине XX века резко проявился только один из параметров кризиса — военно-политический, — который удалось преодолеть, переведя его в следующую фазу, менее отчетливую, но не менее опасную.

Вместе с тем продолжающийся рост населения и расходования ресурсов свидетельствует о том, что комплексный глобальный кризис пока не наступил, но симптомы его приближения, дополненные экстраполяционными расчетами, складываются в неутешительный диагноз: развитие мировой цивилизации приняло *предкризисный* характер. Сегодня уже можно предположительно обрисовать содержание кардинальных мировоззренческих и практических проблем, которые предстоит решать поколениям XXI века.

1. 2. Распутье двадцать первого века

Мы заброшены в XXI век без карты, без руля и без тормозов.

Б. Джой

Если человечество... не изменит кардинальным образом свое поведение в планетарном масштабе, то уже в середине XXI века могут возникнуть такие условия, при которых люди существовать не смогут.

Н.Н.Моисеев

Современное состояние человека как биологического вида можно сравнить с балансированием между эволюционной трансформацией и полным исчезновением.

Дж. Аллен, М. Нельсон

*...Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход,
И то — не тот...*

В.С. Высоцкий

Коль скоро прогнозирование вообще строится на экстраполяции, его исходной процедурой служит экстраполяция *линейная*. Именно линейное распространение наблюдаемых тенденций позволяет субъекту предвосхищать события и планировать собственные действия по вмешательству (или невмешательству) в их ход для достижения потребных результатов. Таков обобщенный алгоритм опережающего отражения (моделирования), которым пользуется всякий живой организм [Бернштейн Н.А., 1961].

Начав с линейной проекции опасных тенденций, отчетливо проявившихся за последние десятилетия XX века в сферах политики, демографии, экологии и генетики, мы убеждаемся, что к середине XXI века планетарная цивилизация может оказаться на грани самоистребления.

Так, небезосновательны сценарии, предрекающие религиозный ренессанс, новое Средневековье и деление человечества на враждующие между собой «цивилизации» по конфессиональному признаку. В статье, ставшей научным бестселлером 1994

года, американский политолог С. Хантингтон [1994] детально обрисовал такую перспективу, представив ее даже не как один из возможных, но как безальтернативный вариант развития мировых событий.

В последовавшей дискуссии было отмечено, что, с одной стороны, образование противоборствующих цивилизаций потребовало бы предварительной насильственной интеграции государств *внутри каждой из них*; с другой стороны, конфессиональные и «цивилизационные» противоречия все более концентрируются *внутри отдельных государств*. В итоге же война всех против всех обещает стать лейтмотивом наступающего столетия.

Как уже приходилось доказывать в процессе обсуждения автору этих строк [Nazaretyan A., 1994], проекции подобные хантинговской суть сценарии «Конца истории». Но не в том смысле, какой вложил в это понятие гегельянец Ф. Фукуяма [1990], утверждавший, что крах фашизма, коммунизма и прочих «вызовов» и окончательная победа либеральных ценностей сделает последующую жизнь общества бессобытийной. Напротив, перед нами сценарий драмы с катастрофическим финалом: реанимация средневекового политического менталитета в сочетании с современными боевыми технологиями создаст гремучую смесь, которая неизбежно взорвет здание планетарной цивилизации⁹.

Аналогичен, по сути, итог другого сценария, построенного, в отличие от предыдущего, не на политико-идеологических, а на экологических и демографических соображениях.

При этом ссылаются на ускоряющееся расходование полезных ископаемых, включая энергоносители, сокращение растительного покрова, биоразнообразия, уничтожение экосистем, вещественные и энергетические отходы, создающие радиационное загрязнение, парниковый эффект и т. д. Согласно В.Г. Горшкову [1995] и его последователям [Арский Ю.М. и др., 1997], человечество не нарушает внутреннее равновесие биосферы до тех пор, пока потребляет до 1 % чистой продукции би-

⁹ Позже Хантингтон заметно ослабил и даже пересмотрел исходные тезисы. Это видно и по книге [Huntington S., 1997], и, особенно, по статье «Одинокая сверх-держава», вышедшей в свет в 1999 году (см об этом: [Арин О.А., 2001]). Но освободившуюся «нишу» тех же заняли другие идеологи [Бьюкенен П.Дж., 2003].

оты. (Критики [Голубев В.С. и др., 1997] указали на методологические неточности, приведшие к такому результату, но детали пока оставим в стороне). Сегодня потребление превысило 10% и продолжает увеличиваться. И, хотя львиная доля расходов и отходов приходится на США и другие развитые страны, особую тревогу у многих экологов вызывает рост населения в бедных странах. По их расчетам, количество людей на Земле давно превысило допустимую норму и, если в ближайшие годы этот процесс не сменится на обратный, то в обозримой перспективе наступит глобальный обвал.

Какова же предельная для биосферы численность человеческого населения? Наиболее популярное число — 1 млрд. человек¹⁰, но называют и меньшие величины. Горшков полагает, что экологически допустимый предел — 700 млн. человек — был превзойден в начале XIX века. Лидер «глубинной экологии» А. Нейес ограничил приемлемое количество 100 млн. человек [Философия..., 1997]. В учебном пособии, подготовленном группой видных российских экологов [Арский Ю.М. и др., 1997], утверждается, что демографический оптимум был достигнут уже в верхнем палеолите и составляет 10 млн. человек.

Из подобных расчетов вытекают достаточно грустные выводы, хотя они редко формулируются с такой откровенностью, какв одной из статей Н.Н. Моисеева [1992, с.89]. «Для того чтобы человечество не нарушало хрупкого баланса ресурсов, — писал он, — население планеты *при нынешнем уровне технологий* (курсив мой — А.Н.) должно быть уменьшено раз в десять... А такое, вероятнее всего, невозможно. Значит, предсказанная Мальтусом катастрофа в той или иной форме неизбежна».

Оговорка, выделенная курсивом, весьма красноречива, и к ней я далее вернусь. Многие авторы таких оговорок не делают, выдавая результаты расчетов, выполненных в упрощенной мальтузианской модели, за последнее слово науки. Это, в свою очередь, служит поводом для политических суждений глобального характера. «XXI век по многим военно-политическим прогнозам обещает быть грозным столетием войн за уменьшающиеся сырьевые ресурсы, за место в «золотом миллиарде» челове-

¹⁰ Понятие «золотой миллиард» используется в двух значениях. В одних случаях это предельно допустимое число обитателей планеты. В других — население благополучных стран, составляющее элиту человечества с вытекающими отсюда ответственностью и правами управления.

честна», — утверждал, например, главный редактор «Красной звезды» полковник Н.Н. Ефимов [2000].

Впрочем, для того, кто знаком с официальным документом под названием «Стратегия национальной безопасности США на новое столетие» [A National... 1998], совершенно очевидно, что перед нами не более чем его авторизованный и чуть-чуть утрированный пересказ.

Такие рассуждения и стратегии дают обильную пищу для катастрофических ожиданий. Немецкий исследователь Г.М. Эрценсбергер опасается наступления всемирной эры гражданских войн. Француз А Минк пишет о приближении новых Темных веков. Англичанин Н. Стоун также не исключает того, что человечество возвращается в средневековую эпоху нищенства, эпидемий, чумы и инквизиции [Вебер А.Л., 2002]. О перспективе «вторичной варваризации» пишет польско-английский философ З. Бауман [2002].

Тем самым хантингтоновский сценарий предстает перед нами в новом обличье и с иными обоснованиями. Но комментарий к нему остается прежним: если политические события станут развиваться по логике военных конфликтов (чего, конечно, нельзя исключить), то не стоит и мечтать о разрешении глобального экологического кризиса. А начавшееся столетие, начиненное «знаниями массового поражения» (см. раздел 1.1), наверняка завершит историю цивилизации на нашей планете.

Не менее суровая глобальная опасность, о которой говорилось в предыдущем разделе, связана с накоплением генетического груза. Сколь бы ни расходились специалисты в оценке конкретных деталей и сроков, сокращающийся в каждом следующем поколении процент полноценных в медицинском отношении детей свидетельствует о том, что при сохранении наблюдаемых процессов биологическая деградация населения в обществах, радикально ограничивших естественный отбор, — вопрос времени...

Итак, *линейное* распространение в будущее ряда тенденций, наблюдаемых «на входе» XXI века, дает повод полагать, что цивилизация планеты Земля доживает последние десятилетия своей бурной истории. А далее наступает очередь *конструктивных* вопросов: каким образом возможно изменить ход событий, чтобы обеспечить сохранение цивилизации, и чем для этого придется пожертвовать?

В многообразии глобальных проектов и рекомендаций выде-

ляются две стратегии мышления, которые условно и пока без каких-либо оценочных коннотаций, назовем «романтической» и «прогрессивистской».

Первая стратегия основана на постулате человеческой вины. Согласно этому постулату, кризисы обусловлены тем, что человечество нарушило законы природы (или, в другой версии, божественные установления) и сталкивается с неизбежными последствиями. Соответственно, выход — в возврате к утерянным ценностям и состояниям.

Разумеется, любой здравомыслящий аналитик понимает, что буквальный возврат в прошлое невозможен и речь идет только об ориентирах. Имеются также существенные разногласия по поводу того, когда именно общество пребывало в оптимальном, гармоничном состоянии и какая эпоха должна служить образцом: средние века, античность, палеолит? Но убеждение в том, что средства для выхода из кризиса следует искать в прошлом, объединяет приверженцев романтического умонастроения.

Например, то, что в концепции Хантингтона предстает как печальная неизбежность, для религиозных и национальных фундаменталистов — желанная цель, даже своего рода антикризисная стратегия. Они обычно считают само собой разумеющимся, что в добрые старые времена люди были здоровее и счастливее, не сталкиваясь с экологическими и идеологическими кризисами. На этом фоне споры о том, какое именно религиозное учение и чей национальный дух лучше способствуют бескризисной жизни, столь же неизбежны, сколь и второстепенны по существу.

Рекомендации религиозных (и национальных) фундаменталистов смыкаются с призывами экологических фундаменталистов своей ретроградной направленностью, но есть между ними и существенное различие. Первые обычно требуют ограничить индивидуальные потребности («нищета должна снова превратиться в добродетель» [Панарин А.С., 1998]), но крайне негативно относятся к контролю над рождаемостью. Напротив, излюбленный мотив вторых — сократить население Земли до биосферно-приемлемого уровня, т.е., по разным оценкам, в 6, в 10, в 60 и даже в 600 раз.

Как же этого добиться? Мысль о большой войне уважающие себя исследователи отвергают, подчас ссылаясь на недостаточную эффективность классического средства депопуляции:

«Войны ослабляли воюющие армии и страны, но лишь незначительно уменьшали тем самым скорость разрушения биосферы цивилизацией» [Арский Ю.М. и др., 1997, с. 306]. Взамен они предлагают сократить деторождение до одного-двух детей в семье, хотя остается неясным, как возможно убедить в этом миллиарды людей и выполнима ли такая задача при остром дефиците исторического времени.

Обсуждались и более «операциональные» предложения. Правда, они, как правило, настолько экзотичны, что бытуют по большей части не в академической литературе, а в массовой печати и околонучных «тусовках». Отбросив заведомо безнравственные — война, прекращение экономической и медицинской помощи бедным странам, — могу указать на два сюжета. Первый состоит в том, чтобы регулировать пол зародышей (технически это допускается современной биохимией), достигая глобального соотношения 9 родившихся мальчиков на 1 девочку; при таком раскладе рождаемость в следующем поколении резко снизится. Второй — подмешивать в пищу, в воду, даже распылять в воздухе псевдогормональные препараты, снижающие вероятность зачатия за счет «очищающей селекции» (см. об этом [Лем С., 1992]).

Очевидно, что все подобные предложения, опять-таки, упираются в задачу уговорить, обмануть или принудить народы и правительства прибегнуть к депопуляционным мерам, а также к спорам о том, где их следует применять, а где нет. Любой искушенный в риторике идеолог легко доказывает, что именно в его стране сокращать население не требуется, причем один из безотказных аргументов — сравнение ресурсных затрат на человека в богатых и в бедных странах (см. раздел 1.1).

Сегодня мало кто верит в реалистичность глобальных депопуляционных программ. Население Земли продолжает увеличиваться, и хотя его относительный прирост, как и предполагали, снизился (числовые показатели приведены в разделе 1.1), стабилизация ожидается на уровне, вдвое и более превышающем нынешнюю численность. Это обстоятельство рождает у экологов «романтического» направления глубокий пессимизм. Тем не менее, пропаганда в духе демографического алармизма активно проводится в СМИ и в учебных аудиториях, часто приводя к неблагоприятным последствиям.

С одной стороны, горячие головы уже предложили постранные квоты на депопуляцию, что вызывает резкую реакцию со стороны местных националистов (см. [Кургиян С. и др.,

1995]). С другой стороны, иноэтничные мигранты объявляются главной угрозой для сложившихся социоэкологических систем [Гумилев Л.Н., 1993]. На этой почве «левые экологи» смыкаются с идеологами и политиками крайне правого толка, и авторитет науки используется для нагнетания ксенофобии. Западные социологи заговорили об опасности зеленого тоталитаризма и экофашизма [Snooks G.D., 1996]. Поскольку же принудительный контроль над рождаемостью и депопуляция составляют ядро большинства версий «устойчивого развития», можно согласиться с критиками, считающими данную концепцию «одним из опаснейших заблуждений современности» [Моисеев Н.Н., 1994] (ср. также [Лесков Л.В., 1998-а, б], [Зубаков В.А., 1999] и др.).

Исходя из призывов «назад к Природе», «жить по законам Природы», признать «равенство прав» человека с прочими живыми существами и проч., можно представить себе и меры против накопления генетического груза. По логике вещей, речь должна идти об упразднении медицины и радикальном снижении жизненных и гигиенических стандартов.

Действительно, вошь, вирус гриппа и чумная бацилла — такие же твари божьи, как и человек, а потому биоэтически небыспорно спасти жизни людей, обеспечивая к тому же противоестественный рост их числа, ценой уничтожения их естественных врагов. По законам природы человеческие особи должны служить материалом для регулярного естественного отбора, большинство родившихся детей должны не доживать до взрослого возраста, а взрослые, по завершении детородного периода, — вскоре погибать (природе не нужны старики).

Добавлю, что человеческое население уже превосходит на пять порядков численность популяций диких животных, сопоставимых с человеком по размерам тела и типу питания [Капица С.П. и др., 1997]. Антропологами указаны факторы, благодаря которым популяция ранних гоминид могла возрасти вчетверо, оставаясь еще в рамках биологической закономерности [Клягин Н.В., 1999], но и с учетом этого население Земли следовало бы сократить не в 6 и даже не в 600, а в десятки тысяч (!) раз.

Само собой разумеется, что, отказавшись от привилегированного положения в природе, человек обязан мирно сосуществовать (сколь бы ни было односторонним такое миролюбие) с хищниками, ядовитыми змеями, болезнетворными насекомыми и микроорганизмами, прекратить выпалывание сорняков,

культивирование сельскохозяйственных растений и животных и т. д. Надо ли доказывать, что на таком пути разрешения экологического кризиса «золотой миллиард» — или «золотой миллион»? — человечества составят не граждане преуспевающих стран, а бушмены и прочие первобытные племена...

Все это с логической неизбежностью вытекает из биоцентрического мировоззрения, хотя левые экологи обычно не доводят рассуждения до конца, оставляя их непоследовательными. Например, они подсчитывают, какой ущерб природе наносится современными технологиями, но не вычисляют, каким обвалом экосистем обернулся бы возврат к архаическим способам хозяйствования, а факты, свидетельствующие о тяжелейших экологических кризисах в прошлом, просто игнорируют; призывают к депопуляции, но обходят вопрос о реалистичных способах (см. [Назаретян А.П., Лисица И.А., 1997]). Бесконечные концептуальные нестыковки такого рода и дали повод американскому социологу Э. Тоффлеру, обычно корректному в формулировках, высказаться неожиданно резко: «Только романтические дураки болтают о возвращении к природному состоянию» [Тоффлер А., 1997, с. 349].

Чтобы спасти биоцентрические построения, предлагаются компромиссные формулировки типа «вперед — к Природе», которые на поверку оказываются не более чем красивой публицистикой. Если говорить о «настоящей» (т.е. аутентичной, дикой) природе, к механизмам и закономерностям которой апеллируют последовательные биоцентристы, то неуместно слово «вперед». Если же речь идет о заповедниках, парках, оранжереях и ручных зверюшках, то налицо подмена понятий: все это не природные, а культурные новообразования, созданные человеком, как и все прочие артефакты, из материала природы. Поэтому такое сближение с природой есть одна из форм «очеловечивания», биоценозов, превращения их в элементы антропосферы [Буровский А.В., 1999], т.е. дальнейшего восхождения (или, в трактовке биоцентристов, нисхождения) социоприродных систем от естественных к искусственным состояниям.

Но тогда в обсуждаемом тезисе доминирует слово «вперед», и сам тезис укладывается в рамки альтернативной романтизму прогрессистской стратегии.

Последняя вытекает из эволюционной картины мира, в рамках которой кризисы рассматриваются как закономерные фазы развития общества и природы. Соответственно, прогрессисты

ищут решение глобальных проблем, обострившихся в процессе исторического развития, на пути *дальнейшего развития* по тем же векторам, по каким оно происходило до сих пор. Эта парадоксальная стратегия также сопряжена с целым рядом теоретических и эмоциональных трудностей, а между ее сторонниками имеются существенные разногласия по конкретным вопросам.

Так, в противовес возврату к религиозной и политической вражде Средневековья иногда выдвигают идею Мирового правительства с широкими и подкрепленными военной силой полномочиями. Оно видится как развитие исторической тенденции, состоящей в укрупнении социальных организмов.

Оппонентами такого проекта сформулированы два основных возражения. Во-первых, он предполагает отход от либеральных ценностей в сторону планетарного тоталитаризма, предназначенного для увековечения господства богатых стран над бедными и эксплуатации их ресурсов (т.е. здесь концепция «золотого миллиарда» выступает в новом облике). Во-вторых, это приведет к подавлению культурного разнообразия [Шахназаров Г.Х., 2000], [Панарин А.С., 2000]. То и другое обернулось бы снижением жизнеспособности мирового сообщества.

Для полноты картины приведу экстремальное предложение по формированию глобального управляющего центра. «Геостратегический успех, достигнутый в этом деле, — пишет крупнейший американский политолог З. Бжезинский [1999, с. 254], — надлежащим образом узаконит роль Америки как первой, единственной и последней истинно мировой сверхдержавы».

Последнюю цитату даже не стану здесь комментировать, потому что она отчетливо демонстрирует тот самый социально-психологический синдром *Homo prae-crisimos*, который подробно описан в разделе 2.7. Что же касается более взвешенных проектов, возражения против них снимаются другой версией прогресса, по которой политическая перспектива состоит, напротив, в децентрализации и регионализации власти, образовании экономических и технологических блоков, объединяющих области различных стран. Футурологи приводят выразительные свидетельства продуктивности такой тенденции на различных континентах [Кеннеди П., 1997].

С экспансией сетевого общества (которое «абсорбирует и подчиняет предшествовавшие социальные формы»), если нации-государства и выживут, то окончательно потеряют сувере-

нитет — источник международных конфликтов. «Они будут связаны друг с другом в многосторонних сетях с изменчивой геометрией обязательств, ответственности, союзов и субординации» [Кастельс М., 2002, с.508].

В пределе логично ожидать отмирания или функционального перерождения национальных государств [Negroponte N., 1995] и государства вообще (особенно «модерного государства», сложившегося в Новое время [Фуре В.Н., 2000]) как исторически преходящей формы социальной организации.

По мере того, как удельный вес товарной стоимости будет смещаться от вещественной и энергетической к информационной составляющей, традиционные формы государственных границ, таможен и армий превратятся в анахронизм. Продолжающееся совершенствование, удешевление и распространение сетей типа «Интернет», разработка компьютерных языков (которых пользователям знать не требуется, но через которые будет автоматически осуществляться перевод) — все это сделает человеческие контакты независимыми от географической локализации, национальной принадлежности и социального положения корреспондентов.

В результате государственные и вообще макрогрупповые формы организации будут вытеснены сетевой самоорганизацией мирового сообщества, всемирным гражданским обществом. Идиллическую картину дополняет перспектива «бескровных войн», ареной которых станут «мультимодальные» экраны компьютеров (с включением зрения, слуха, осязания и других сенсорных анализаторов): с их помощью каждый желающий может достоверно переживать весь комплекс эмоций, связанных с участием в боевых операциях. Война, как и прочие функции государства, переместится в виртуальную сферу...

К сожалению, и такой сценарий только на первый взгляд кажется беспроблемным. Дезинтеграция государств, уже принявшая форму глобального геополитического передела, начатого распадом СССР, разложение национальных и религиозных общностей — все это сопряжено с трудными идеологическими, эмоциональными перестройками и фрустрациями. А значит, с психологическим, политическим и в ряде случаев, вероятно, силовым сопротивлением. В игру давно включены корпоративные, финансовые и прочие эгоистические интересы, и большой вопрос, удастся ли человечеству пройти путь до безгосударственного существования с минимальными издержками, т.е. та-

кими, которые не обернулись бы глобальной катастрофой. Впрочем, как мы далее убедимся, это еще не самая острая из коллизий будущего в рамках прогрессистского сценария.

Что касается демографической стороны дела, здесь оценки прогрессистов диаметрально отличаются от оценок их оппонентов. Например, авторы книги [Капица С.П. и др., 1997] допускают одновременное существование на Земле 12-14 млрд. человек. На этой численности, по их мнению, реально прекратится демографический рост, но не из-за недостатка ресурсов, а в силу культурно-психологических причин: как показывает опыт развитых стран, с ростом благосостояния и образования рождаемость радикально падает («демографический переход»).

Сходные числа, от 10 до 14,5 млрд. человек, заложены в сценарии некоторых американских исследователей (см. обзор литературы в [Кеннеди П., 1997]). Называют и большие числа — 15—25 млрд. Скрупулезный анализ проводимых расчетов и их методологии привел ряд экспертов к выводу, что вообще «представление о «пределах роста» является ложным» (цит. по [Капица С.П. и др., 1997, с. 249]).

В начале 80-х годов представители «ревизионистской школы» выступили за стимулирование рождаемости, подчеркнув, что с ростом населения увеличивается количество творческих личностей, способных обеспечить технологические, социальные и духовные перестройки. Наиболее обстоятельно этот тезис обоснован австро-американским экономистом и социологом, лауреатом Нобелевской премии Ф.А. фон Хайеком [1992].

Хайек показал, что демографический рост чреват опасностями постольку, поскольку он опережает рост социокультурного разнообразия, т.е. увеличивается количество «одинаковых людей». Когда множество людей желают одного и того же и владеют одними и теми же простыми навыками, они создают напряженность на рынке труда, конкурируют за ресурсы и наращивают их расход. Но когда увеличивается количество «разных людей», мыслящих непохоже и владеющих разнообразными умениями, параллельно умножаются социальные услуги. Отходы одних деятельностей становятся сырьем для других деятельностей, более полно вовлекая в единый круговорот вещественные и энергетические ресурсы. В итоге с ростом населения и *потребления* сокращаются *расходы* природных ресурсов и, что не менее важно, *отходы* социальной жизнедеятельности.

В той же парадигме прогрессисты обсуждают способы реше-

ния энергетической, продовольственной и других проблем. Они указывают на недооценку оппонентами объемов и потенциала имеющихся запасов плодородной почвы и энергоносителей, а также творческих возможностей человеческого ума; реальную же проблему видят в необходимости социальной, экономической, политической и психологической перестройки мирового сообщества (см. [Кеннеди П., 1997], [Лесков Л.В., 1998-а, б] и др.).

От того, примем мы точку зрения «алармистов» (романтиков) или «ревизионистов» (прогрессистов), решающим образом зависит программа действий, особенно в демографической сфере. В первом случае следует направить основные финансовые и интеллектуальные усилия на пропаганду малодетности, а в идеале бездетности, и прочие депопуляционные мероприятия, причем, не надеясь на существенный результат. Во втором — на развитие образования, воспитания, систем профессиональной подготовки и переквалификации, удешевление, распространение и совершенствование информационных сетей и т. д.

Вторая стратегия, конечно, выглядит предпочтительнее для гуманиста, но это само по себе не может служить определяющим аргументом. Тем более что последовательное прочтение прогрессистского сценария, как выше отмечено, счищает с него лоск рождественской идиллии.

Особенно очевидны теоретические и эмоциональные коллизии современного прогрессизма при изучении экологического и генетического аспектов глобального кризиса. По сути дела, стержень прогрессистских подходов составляет дальнейшая «денатурализация» внешней и внутренней среды человека.

Предполагается, что биосфера будет все более превращаться в подсистему планетарной цивилизации (антропосферы) с возрастающей ролью искусственного управления. Допустимые объем и степень стихийной саморегуляции биоценозов, видовой состав и плотность заполнения экологических ниш будут определяться в соответствии с интересами единой социоприродной системы, т.е., в конечном счете, с потребностями культурного субъекта. Удельный вес биотических регуляторов будет последовательно сокращаться, и природа в целом — антропоцентризироваться, превращаясь в эрзац, памятник или, по выражению А.А. Брудного [1996], «знак самой себя».

Понятно, почему такая перспектива болезненно воспринимается не только «зелеными», но и широкой общественностью.

Но еще сильнее шокируют прогнозы, связанные, по этому сценарию, с самим человеком.

Поскольку нас не устраивают ретроградные способы противодействия накоплению генетического груза (отказ от медицины и т. д.), реальную альтернативу могло бы составить последовательное вытеснение естественных механизмов биологической регуляции искусственными. Генная инженерия, превентивное отслеживание наследственных патологий, консервация клеток, клонирование, выращивание и трансплантация органов, внеутробные формы вынашивания плода и прочие пока еще полуфантастические кошмары будут означать *вторжение инструментального интеллекта в самые интимные основы бытия*.

Сегодня едва можно вообразить, какими злоупотреблениями и трагическими ошибками чревата столь немереная власть над организмом. И какое качество социального, нравственного и правового контроля необходимо для того, чтобы злоупотребления и ошибки не привели к необратимым катастрофам.

Но и это еще не все. Согласно прогрессистскому сценарию, будет неуклонно возрастать роль автоматизированных систем хранения и переработки информации в жизнеобеспечении общества. Их внедрение во все сферы человеческой деятельности — необходимое условие для того, чтобы радикально повысить удельную продуктивность производств, уровень жизни, качество медицинского контроля, предотвращать и смягчать потенциальные конфликты, исключив кровопролитные формы их разрешения и т. д. Но, увы, рисующийся взору энтузиастов информационный рай [Гейтс Б., 1996] — не более чем очередная утопия.

На заре кибернетики крупнейший математик Дж. фон Нейман теоретически доказал, что количественное наращивание мощности и быстродействия ЭВМ рано или поздно приведет к непредсказуемым и неподконтрольным качественным эффектам. В середине 80-х годов немецкий ученый В. Циммерли заметил, что тенденция уже приобрела реальные очертания. Он назвал ее *парадоксом информационных технологий*: контроль за функционированием компьютерных систем обеспечивается посредством более сложных систем, и таким образом машинный интеллект неуклонно обособляется от человеческого [Zimmerli W., 1986].

Имеются и специальные аргументы в пользу того, что самообучающаяся система с рефлексивной моделью мира, квазипотребностными механизмами автономного целеполагания, спо-

собная оценивать успешность действий, отношение между общими и частными задачами, испытывать аналоги удовлетворенности и неудовлетворенности и т. д. — такая система не будет вечно оставаться «машиной» в привычном смысле слова. Включение же в электронную конструкцию белковых молекул (биочипов), выращенных в генетической лаборатории и ускоряющих искусственное формирование сенсорных органов, должно особенно впечатлить тех, кто склонен придавать большее значение субстратным (органика — неорганика), чем функциональным признакам. Впрочем, биочипы — вероятно, только промежуточное решение, если иметь в виду поразительные перспективы нанотехнологий (см. раздел 1.1). Все это дало основание американскому ученому Г. Моравеку [1992, с. 34] заявить: «Недалек тот час, когда наши механические рабы обретут душу».

Что же произойдет потом? Автор приведенной цитаты, один из самых знаменитых специалистов по робототехнике, основатель крупнейшей в мире программы по изучению роботов, в книге [Moravec H., 2000] попытался это предугадать, используя дарвиновскую модель борьбы за существование. Он провел параллель с тем, как 10 млн. лет назад, после образования Панамского перешейка, плацентарные млекопитающие Северной Америки проникли в Южную Америку и за несколько тысячелетий извели обитавших там сумчатых.

Нечто подобное, но за гораздо меньший срок, приличествующий XXI веку, должно произойти и теперь. Роботизированные производства, конкурируя между собой за вещество, энергию, пространство и информацию, настолько повысят цену этих ресурсов, что они станут недоступными для людей; последние будут, таким образом, обречены на вымирание.

Моравек скептически относится к «законам робототехники», сформулированным писателем-фантастом А. Азимовым, и не надеется на то, что в сознание роботов удастся внедрить имманентные алгоритмы человеколюбия, а значит, в этой конкуренции шансы человечества равны нулю.

Такие высказывания профессионалов уже начали влиять на массовые настроения. В США появились неолуддиты, физически истребляющие программистов как носителей главной опасности для человеческого рода. Рассказывая об этих фактах, о пострадавших друзьях и коллегах, о том, что и сам может стать очередной мишенью, уже известный нам Б. Джой, соучредитель и главный специалист компании «Сан майкросистем», нежи-

данно солидаризировался со своими смертельными врагами [Joy В., 2000].

Характерно само заглавие его статьи: «Мы не нужны будущему». Автор много лет увлеченно работал над совершенствованием компьютерных программ и созданием нанотехнологий с верой в то, что его труды сделают мир лучше и комфортнее для людей. Но теперь, добившись крупных результатов и продумав соотношение позитивных и негативных последствий, он с ужасом убедился, что создает могильщика человечества.

По расчетам Джоя, к 2030 году мощность самых совершенных компьютеров 2000 года будет превзойдена более чем в 1 млн. раз (!)¹¹. Этого достаточно для появления разумного робота («нанобота») способного к самовоспроизводству и, соответственно, для образования «вида роботов». В сочетании с новыми возможностями физики и генетики это обеспечит тотальную искусственную перестройку мира, в котором человеку места не останется.

Ученый рассматривает различные проекты спасения людей, вплоть до удаления их на другие планеты, но единственное реальное средство видит в запрете на развитие компьютерных технологий. Он готов первым отказаться от дальнейшей работы в этом направлении, хотя опасается, что его предложение уже запоздало...

Своеобразный рекорд завершенности леденящих душу картин принадлежит сотруднику НАСА, российско-американскому специалисту по компьютерам А. А. Болонкину, статью которого в 1995 году опубликовала «Литературная газета». Между людьми и роботами (электронными *E*-существами) — вездесущими и во всех отношениях превосходящими своих создателей — возникнет поляризация. Созданные для блага людей, *E*-существа перестанут нуждаться в духовной связи с ними и приступят к их уничтожению. В итоге вид *Homo sapiens* будет представлен небольшим числом особей в био-кислородных резервациях вроде наших зоопарков. Ибо станет очевидно, что «человечество выполнило свою историческую миссию и не нужно более ни природе, ни Богу, ни простой целесообразности» [Болонкин А.А., 1995].

Характерно, что в рассуждениях Болонкина отсутствуют мо-

¹¹ Вероятно, расчет строился на так называемом законе Мура, по которому скорость информационных процессов возрастает вдвое за каждые полгода. Полученный результат легко перепроверить, возведя цифру 2 в двадцатую степень.

тивы литературной антиутопии, предупреждения или хотя бы (как, например, у Джоя) сожаления о судьбе человечества, завершающего свою «миссию». Эмоции бесполезны, так как всякие попытки остановить, запретить научно-технический прогресс или изменить его формы — напрасны, а будущее предопределено. Хотя автор даже не скрывает наполняющего его восторга по поводу начертанной перспективы.

Здесь невольно задумаешься, как в старом анекдоте: а стоило ли? Если драматическая история разума и культуры приводит только к образованию все более могущественных и безжалостных агрессоров, то нужно ли беспокоиться о дальнейшем сохранении цивилизации?

Впрочем, это вопрос из области сантиментов, опускаться до которых приверженцы экстремального прогрессизма не склонны. Но тогда возникает другой вопрос, уже вполне «рациональный» и изоморфный тем, что относились к сценариям «столкновения цивилизаций» и «золотого миллиарда»: долго ли сможет удержаться от самоистребления интеллект, сочетающий столь высокий инструментальный потенциал со столь убогими ценностными установками?..

Я считаю ответ на этот вопрос очевидным. Технократы-прогрессисты приводят нас к тому же итогу, что и романтики-фундаменталисты, только более извилистой дорогой: на финише маячит самоистребление человечества и всего, что создано историей. Запреты, которые предлагает Джой (и некоторые другие ученые), как показывает весь материал его же статьи, бесперспективны. Не только потому, что джин «знаний массового поражения» уже выпущен из бутылки. Если бы даже удалось загнать его обратно, без развития новейших технологий численно растущее и биологически слабеющее человечество все равно было бы обречено...

Даже великий физик С. Хокинг [1998] — человек, много лет прикованный к инвалидной коляске, лишенный речи и, в отличие от благополучных коллег, со светлым оптимизмом глядящий в будущее человечества (психологическая компенсация?) — отдает дань представлению о «борьбе за лидерство с электронным роботом». Ради успешной борьбы, по мнению ученого, необходимо «улучшать интеллектуальные и физические качества человека» посредством геной инженерии (с.5). Мне представляется странной надежда на то, что скорость генетических трансформаций, даже искусственных, может сравниться со ско-

ростью саморазвития электронных систем, а расчет на успех в такой «борьбе за лидерство» — беспочвенным.

Обсуждаются и сценарии, предполагающие не прямое соперничество человеческого и электронного интеллектов, а различные формы их симбиоза. Но и здесь все непросто.

Можно долго и полезно спорить о терминах типа «душа», «механизм», «человек», «машина». Но важно, чтобы словесные баталии не заслонили существо дела. Едва ли кто-либо способен точно указать момент, когда в искусственном творении человеческого ума обозначится новое субъектное качество — суверенное отношение к миру и к человеку.

Самый мягкий прогрессистский сценарий предполагает встречное развитие двух тенденций: «денатурализация первой природы» (стихийные биотические регуляции антропосферы, включая человеческий организм, вытесняются искусственными) и «одушевление второй природы» (продукты и орудия человеческой деятельности обретают качества субъектности). Образующиеся в итоге симбиозные формы интеллекта и цивилизации могли бы обеспечить коренное разрешение нынешних глобальных проблем. Однако даже при самом благоприятном раскладе жертвой такого развития стал бы человек в его качественной определенности...

Авторы футурологических трудов, предусматривающие такую перспективу, оценивают ее диаметрально противоположно. У одних, склонных к ностальгии и обладающих подчас художественным даром, слышится своего рода «Плач Ярославны» по уходящей стихийности природы и человеческой души [Кутырев В.А., 1994], [Зиновьев А.А., 2000]. Другие восторженно описывают киборгов и прочие электронные чудища, призванные, как и герои Моравека, вытеснить несовершенных белково-углеводных человек [Kosko B., 1994], [More M., 1994], [Болонкина А.А., 1995].

Выходит, все — не слава богу. И попятный путь, и топтание на месте, и прогресс одинаково губительны. Одна из главных задач дальнейшего нашего исследования состоит в том, чтобы выяснить, действительно ли ситуация так безысходна. Может ли рост человеческого населения сочетаться с ростом благосостояния и улучшением экологической обстановки? Способны ли люди жить без войн? Должны ли различные формы развитого интеллекта непременно стать конкурентами и даже врагами, наподобие близких по функции зоологических видов? И глав-

ное: на каком пути — удаления от традиционного общества или возврата к нему — человечество ожидает «меньшее зло»?

Вопросы такого рода сегодня требуют обстоятельно аргументированных ответов.

...При характеристике нынешнего исторического этапа вспоминают как Одиссея, лавирующего между Сциллой и Харибдой, так и былинного богатыря на распутье дорог, каждая из которых грозит потерями. Второй образ точнее в том смысле, что обозримое будущее планетарной цивилизации представляет собой набор паллиативов: среди реалистичных сценариев нет ни одного беспроигрышного.

Разумеется, беспроигрышных путей история не знала никогда, они существовали разве что в воображении религиозных фанатиков, утопистов и прожектеров. Но наступившее столетие в данном отношении существенно отличается от предыдущих.

Во-первых, оно будет, как никакое другое, насыщено необходимостью трудных судьбоносных выборов при временном дефиците. Во-вторых, эти выборы будут более, чем когда-либо ранее, сознательными, поскольку наука уже позволяет до известной степени предвосхищать и «просчитывать» как позитивные, так и негативные последствия принимаемых решений.

Признав, что развитие непременно сопряжено с потерями, и научившись сдержанно относиться как к истерикам, так и к восторгам по поводу будущего, мы должны быть готовы к отбору *оптимальных* стратегий, т.е. обеспечивающих сохранение цивилизации при минимуме издержек. А это во многом зависит от достоверности опорных представлений об общих векторах развития, а также о механизмах обострения и разрешения эволюционных кризисов.

Вопросы о том, существуют ли в действительности универсальные векторы и механизмы, связывающие историю общества и природы, и если да, то каково их направление и содержание, являются ключевыми для ориентировки в многообразии оценок, сценариев и проектов. Далее я постараюсь показать, что комплексное изучение прошлого помогает найти в паллиативном пространстве будущего хотя и не идеальные, но приемлемые для человека решения.